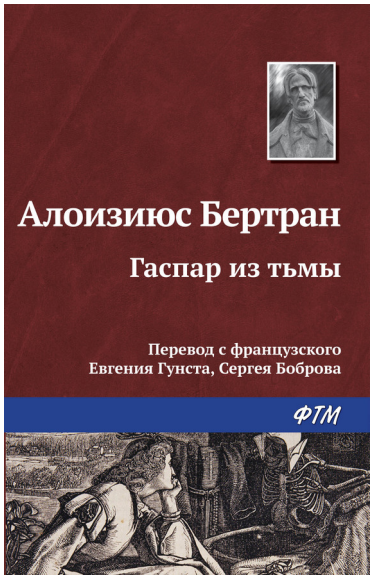
Алоизиюс Бертран
Гаспар из тьмы
Перевод с французского
Евгения Гунста, Сергея Боброва
ФТМ

Алоизиюс Бертран

Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153097
Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло: ФТМ; Москва; 2016
ISBN 978-5-4467-0587-0

Аннотация

Рождение жанра стихотворений в прозе связывают с Францией и романтизмом, его началом считают книгу миниатюр поэта-романтика Алоизиюса Бертрана «Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло»

Содержание

[Первое авторское предисловие] 4
[Второе авторское] предисловие 11
Господину Виктору Гюго 12
Фантазии Гаспара из Тьмы 13
Фламандская школа 14
I. Гарлем 14
II. Каменщик 15
III. Лейденский школяр 16
IV. Борода клином 17
V. Продавец тюльпанов 18
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Алоизиюс Бертран
Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло

[Первое авторское предисловие]

Ты помнишь день, когда, идя дорогой длинной
На Кельн, увидели мы вдруг Дижон старинный
И замерли, смотря, как золотит закат
Высоких шпилей, крыш и колоколен ряд.

Сент-Бёв. Утешения

Зубчатый донжон,
Церковные шпили,
Ввысь башенки взмыли –
Вот он, наш Дижон.

Здесь в небо летели
С древнейших времен
Веселые трели –
Литой перезвон.

Был важной столицей
Наш город старинный;
Он славен горчицей
И маркою винной.

Девиз над гербом
На чугунных вратах,
Жакмар с молотком
На соборных часах.

Я люблю Дижон, как ребенок любит свою кормилицу, как поэт – девушку, впервые тронувшую его сердце. – Детство и поэзия! Как одно быстротечно, как обманчива другая. Детство – это бабочка, которой не терпится обжечь свои белые крылышки в пламени юности, а поэзия подобна миндальному дереву: цветы ее благоуханны, а плоды горьки.

Однажды я сидел в сторонке в саду Пищали названному так по оружию, благодаря коему ловкость рыцарей не раз проявлялась при стрельбе по деревянным птичкам. Я замер на месте и можно было сравнить меня со статуей на бастионе Базир. Шедевр ваятеля Севалле и живописца Гийо изображал аббата, сидящего с книгою в руках. Сутана его была безупречна. Издали его принимали за живого, вблизи же оказывалось, что это гипс.

Какой-то прохожий кашлянул и тем самым развеял рой моих грез. То был жалкий малый внешность которого свидетельствовала о горестях и нищете. Мне уже доводилось встречать в том же саду его обтрепанный, застегнутый до подбородка сюртук, помятую шляпу, которой никогда не касалась щетка, волосы длинные, как ветви ивы, и спутанные,

как густой кустарник, его худые костлявые руки, его невзрачное, лукавое болезненное лицо с жидкой назарейской бородкой, и я великодушно отнес его к числу тех мелких ремесленников – то ли скрипачей, то ли художников-портретистов, которых ненасытный голод и неутолимая жажда вынуждают скитаться по свету вслед за Вечным Жидом.

Теперь нас на лавочке было двое. Сосед мой стал перелистывать книжку, и из нее выпал засушенный цветок, чего незнакомец не заметил.

Я подобрал цветок, чтобы подать ему. Поклонившись мне, он поднес цветок к поблекшим губам и положил его снова в свою загадочную книгу.

– Это, вероятно, память о минувшей нежной любви? – осмелился я сказать. – Увы, у каждого из нас есть в прошлом день, который несет нам разочарование в будущем.

– Вы поэт? – спросил он, улыбнувшись.

Ниточка разговора завязалась: на какую же катушку она станет наматываться?

– Да, поэт, – если быть поэтом – значит стремиться обрести искусство.

– Вы стремились обрести искусство! И обрели его?

– Ах, волей небес искусство – всего-навсего несбыточная мечта!

– Несбыточная мечта!.. А я ведь тоже стремился к ней! – воскликнул он, и в голосе его звучали восторженность таланта и пафос победителя.

Я попросил его сказать мне, у какого мастера заказал он очки, позволившие ему сделать такое открытие, ибо для меня искусство не что иное, как иголка, затерявшаяся в копне сена…

– Я решил стремиться обрести искусство, как в средние века розенкрейцеры стремились обрести философский камень, – ответил он. – Искусство – это философский камень XIX века.

Прежде всего я стал искать ответ на вопрос: что такое искусство? – Искусство – наука поэта – Определение ясное, как алмаз самой чистой воды.

Из чего складывается искусство? На этот, второй, вопрос я не решался ответить несколько месяцев. Однажды при свете коптящей лампы я рылся в пыльных залежах знакомого букиниста и откопал там книжечку, написанную трудным невразумительным языком; на титуле ее развевалась лента с двумя словами: *Got – Liebe.* Я за гроши купил книжку, взобрался к себе на мансарду и стал с любопытством перелистывать покупку у окна, залитого лунным светом; и вдруг мне почудилось будто перст божий коснулся клавиш мирового органа. Так бабочки, шелестя, выходят из чашечек цветов, протягивающих уста навстречу поцелуям ночи. Я свесился из окна и посмотрел вниз. О чудо! Не сон ли это? Я увидел террасу, о которой не подозревал, потому что она была скрыта нежной зеленью апельсиновых деревьев, девушку в белом платье, игравшую на арфе, и старика в черном; он стоял на коленях и молился. Книжка выпала у меня из рук.

Я спустился вниз к жильцам, хозяевам террасы. Старик оказался реформатским пастором, который предпочел своей холодной тюрингской родине изгнание в нашей теплой Бургундии. Арфистка, хрупкая белокурая красавица лет семнадцати, томная и грустная, была его единственным детищем, а книжка, о которой я рассказал им, оказалась лютеранским требником с гербом одного из принцев Ангальт-Кутен.

– Ах, сударь! Не будем тревожить не остывший пепел! Элизабет теперь уже подобна Беатриче в лазоревом одеянии. Она умерла, сударь, умерла! И вот требник, над которым она склонялась в робкой молитве, и роза, которой касалось ее чистое дыхание! – Цветок увядший, еще не успев распуститься, как и она сама! – Книга закрытая, как и книга ее судьбы! – Благословенные реликвии, которые она и в вечной жизни узнает по тем слезам, что оросили их, когда труба архангела разобьет надгробие на моей могиле и я устремлюсь над мирами к моей боготворимой деве, чтобы воссесть наконец рядом с нею у престола Господня!..

– А искусство? – спросил я.

– То, что в искусстве представляет собою *чувство,* я в муках познал. Я любил. Я молился. – *Gott – Liebe,* Бог и Любовь! – Но то, что в искусстве представляет собою *идею,* по-прежнему только возбуждало мое любопытство. Мне показалось, что дополнение к искусству я найду в природе. И я стал изучать природу.

Я выходил из дому утром и возвращался лишь вечером. То, облокотясь на парапет разрушенного бастиона, я долгие часы с наслаждением вдыхал дикий, волнующий запах лакфиоля, золотистые цветы которого рассыпаны по плющу, окутывающему мантией древний феодальный городок Людовика XI; то наблюдал, как видоизменяется мирный пейзаж от порыва ветра, от солнечного луча или внезапного ливня, любовался, как в лесочке, пестрящем светлыми бликами и тенями, гоняются друг за дружкой жаворонки, как дрозды слетаются с пригорков и клюют виноград с таких высоких лоз, что в них мог бы спрятаться олень из басни, как грузные вороны собираются с разных сторон к остову коня, оставленному живодером в какой-нибудь зеленеющей лощине; то прислушивался к тому, как прачки гремят вальками на берегу Сюзоны и как мальчик напевает жалобную песенку, вращая у крыльца станок сапожника. – То я вдали от города прокладывал для своих мечтаний тропинку, устланную мхом и росою, безмолвием и покоем. Сколько раз я срывал багряные горькие гроздья в колдовской чаще возле источника Юности и пустыни Нотр-Дам-д'Этан, у источника Духов и Фей, у Чертова скита! Сколько раз находил я на каменистых высотах Сен-Жозефа, размытых грозами, окаменелые раковины и кораллы! Сколько раз ловил раков в тинистых бродах местных речушек Тии среди равнодушных кувшинок, среди водорослей, где прячется застывшая саламандра! Сколько раз наблюдал я за ужом на топких берегах Солоны, где слышится лишь однообразный крик лысухи да унылые вздохи гагары! Сколько раз свеча моя озаряла подземные пещеры Аньера, где со сталактитов медленно стекает неиссякающая капля клепсидры веков! Сколько раз трубил я в рог на отвесных утесах Шевр-Морта, когда дилижанс тяжело подымался по дороге футах в трехстах ниже моего убежища, скрытого туманом! И даже ночами, летними благоуханными светлыми ночами, сколько раз бродил я, как оборотень, вокруг костра, разведенного на пустынной, заросшей лужайке, – пока дубы не дрогнут от первых ударов дровосека! Ах, сударь, как сладостно уединение для поэта! Я был бы счастлив, если бы мне дано было жить в лесу и нарушать его покой не больше, чем птичка, утоляющая жажду в прозрачном ключе, чем пчелка, пьющая сок из ягоды боярышника, чем зрелый желудь, падающий сквозь листву.

– А искусство? – спросил я.

– Терпение! Искусство все еще было неуловимо. Изучив зрелище природы, я стал изучать человеческие творения.

Было время, когда Дижон не расточал досужие часы на музыкальных вечерах. Он облекался в кольчугу – надевал морион – потрясал протазаном – обнажал меч – заряжал пищаль – устанавливал на крепостных стенах пушки – выступал в поход с барабанным боем, под рваными знаменами, и, подобно седобородому менестрелю, который, прежде чем сыграть на скрипке, произносит несколько велеречивых слов, он мог бы рассказать вам много диковинных историй; поведали бы о них и его обрушившиеся бастионы, под развалинами коих погребены корни индийских каштанов, некогда украшавших город, поведал бы о них и опустевший замок, подъемный мост которого сотрясается под усталым шагом кобылы с жандармом, возвращающимся к себе в казарму, – все здесь свидетельствует о двух Дижонах: Дижоне нынешнем и Дижоне былых времен.

Вскоре я совсем освоился с Дижоном XIV и XV веков, вокруг которого цепью были разбросаны восемнадцать башен, восемь ворот и четыре потайных хода – с Дижоном Филиппа Отважного, Иоанна Бесстрашного, Филиппа Доброго и Карла Смелого, с его самановыми домами под острыми, как шутовской колпак, кровлями, с фасадами, пересеченными андреевским крестом; с его особняками, похожими на крепости и изобилующими узкими бойни-

цами, двойными калитками, внутренними мощеными двориками; – с его храмами, часовнями, аббатствами, монастырями, колокольнями, шпили которых тянулись, как крестный ход, а хоругвиями ему служили золотые и лазурные витражи, и верующие несли чудотворные реликвии, коленопреклоняясь у темных склепов мучеников и у переносных алтарей, увитых цветами; – с руслом Сюзоны, через которое были переброшены деревянные мостики и сооружены мельницы, причем оно разделяло владение аббата Сен-Бенинской обители от владения аббата Сент-Этьенского словно жезл, которым парламентский старшина разнимает двух тяжущихся, готовых лопнуть от ярости; – наконец, с его людными предместьями, из коих одно, Сен-Николя, растянулось двенадцатью улочками на самом солнцепеке, как брюхатая свинья, выставившая напоказ все свои двенадцать сосков. Я гальванизировал труп, и труп восстал.

Дижон поднимается; он поднимается, шагает, бежит! Тридцать колоколов трезвонят в синем небе – небе того оттенка, что любил старик Альбрехт Дюрер. Толпы теснятся у гостиниц на улице Бушпо, у парилен возле ворот Шануан, у садика на улице Сен-Гийом, у разменной конторы на улице Нотр-Дам, у оружейных мастерских на улице Форж, у фонтана на Францисканской площади, у хлебопекарни на улице Без, у крытого рынка на площади Шампо, у виселицы на площади Моримон; мещане, дворяне, крестьяне, солдаты, священники, монахи, писцы, купцы, пажи, жиды, ростовщики, странники, менестрели, судейские, чиновники Счетной палаты, чиновники податные, чиновники Монетного двора, чиновники лесного ведомства, чиновники герцогского двора, вопящие, свистящие, стенающие, поющие, просящие, ругающиеся – в повозках, носилках, на конях, на мулах, на иноходце святого Франциска. – Можно ли сомневаться, что город воскрес? Посмотрите, как развевается на ветру наполовину зеленое, наполовину желтое шелковое знамя, затканное гербом города – красным с золотыми виноградными лозами.

Но что это за кавалькада? То герцог собрался на охоту. Герцогиня уже ждет его в Руврском замке. Какой великолепный выезд, какая многочисленная свита! Монсеньор герцог на сером в яблоках коне, вздрагивающем от резкой утренней прохлады. Вслед за ним гарцуют, красуются *богачи* из Шалона, *дворяне* из Вьенны, *рыцари* из Вержи, *гордецы* из Нешателя, *славные бароны* из Бофремона. – А кто те двое, что замыкают поезд? Младший, в бархатном камзоле цвета бычьей крови и колпаке с погремушками, надрывается от смеха; тот, что постарше, в черном, с капюшоном суконном плаще, под которым он держит объемистую псалтырь, смущенно поник головой; один из них – попечитель непотребных вертепов, другой – придворный капеллан. Шут задает ученому вопросы, на которые собеседник не может ответить, и в то время, как простонародье славит рождество, в то время, как кони ржут, ищейки лают, рога трубят, – те двое, положив поводья на шеи своих иноходцев, непринужденно рассуждают о мудрой госпоже Юдифи и храбром рыцаре Маккавее.

Но вот герольд трубит в рог на вышке герцогского дворца. Это знак охотникам, рассеянным по равнине, чтобы они спускали соколов. Погода дождливая; сероватая мгла совсем скрывает от герольда аббатство Сито, расположенное вдали, в болотистом лесу; но вот луч солнца освещает не столь отдаленные замок Талан, плоские крыши и башенки которого вырисовываются на фоне облаков, – замки сира де Ванту и сеньора де Фонтеа с флюгерами, выглядывающими из густой листвы деревьев, – монастырь Сен-Мор, голубятни коего виднеются за целой стаей голубей, – лазарет Сент-Аполлинер, где всего лишь одни ворота и вовсе нет окон, – часовню Сен-Жак де Тримолуа, похожую на паломника в одеянии, обшитом раковинками, – и у самых стен Дижона, за угодьями аббатства Сен-Бенинь, картезианский монастырь, белый, как ряса последователей святого Бруно.

Дижонский картезианский монастырь! Это Сен-Дени герцогов Бургундских. Ах, зачем дети так завидуют шедеврам своих отцов! Сходите теперь на место, где стоял монастырь, и вы будете спотыкаться о поросшие травою камни, которые когда-то были частью свода,

алтаря, надгробия, каменного пола; камни, некогда овеянные ладаном кадильниц, закапанные воском свечей, слышавшие звуки органа; камни, на которые герцоги здравствующие преклоняли колена, а усопшие поникали головою. – О тщета величия и славы! Теперь в землю, где покоится прах Филиппа Доброго, сажают тыквы! – От монастыря ничего не осталось! – Ошибаюсь! – Еще высятся портал храма и башенка колокольни; легкая и стройная, повитая левкоем, башенка похожа на юнца с борзой на поводке; поврежденный портал все еще столь прекрасен, что мог бы служить драгоценным наперстным украшением какого-нибудь собора. На монастырском дворе, кроме того, сохранился огромный пьедестал, на котором уже нет креста, а вокруг пьедестала – шесть статуй пророков, великолепных в своей скорби. – А что оплакивают они? Они оплакивают крест, вновь вознесенный ангелами на небеса.

Судьба картезианского монастыря похожа на судьбу большинства памятников, украшавших Дижон ко времени присоединения герцогства к королевским владениям. Дижон стал всего лишь собственной тенью. Людовик XI лишил город былого могущества, революция обезглавила его колокольни. Из двух аббатств, двенадцати монастырей, семи храмов и часовни в нем осталось теперь только три церкви. Трое из его ворот заперты, потайные ходы разрушены, слободы стерты с лица земли, воды Сюзоны исчезли в трубах, население его оскудело, а дворянство обабилось. – Увы! Оно и видно, что герцог Карл со своей дружиной ушел на войну – вот уже почти четыре века тому назад, – да так и не вернулся.

И я бродил среди этих развалин, как антикварий, ищущий после ливня римские медали на месте какого-нибудь castrum. В умершем Дижоне еще сохранилось нечто из того, чем он был; он подобен богатым галлам, которых хоронили, положив им в рот золотую монету, а другую – в правую руку.

– А искусство? – спросил я.

– Однажды у церкви Нотр-Дам я наблюдал, как Жакмар, его жена и ребенок отбивают полдень. – Точность, тяжеловесность, равнодушие Жакмара сразу же выдают его фламандское происхождение, даже если бы мы не знали, что он отмерял время славным обывателям Куртре во время разграбления этого города в 1383 году. Гаргантюа украл парижские колокола, Филипп Отважный – башенные часы Куртре; каждый действует на свой лад. – Вдруг сверху раздался взрыв хохота, и я увидел на углу древнего здания одно из тех страшных чудищ, которых средневековые ваятели подвешивали за плечи к соборным водосточным желобам; то был жуткий образ осужденного на адские муки – он высунул язык, скрежетал зубами и заламывал руки. – Его-то хохот и услышал я.

– Это вам в глаз что-то попало! – вскричал я.

– Ни соринки в глазу, ни былинки в ухе у меня не было. Каменное изваяние хохотало, хохотало судорожно, жутко, адски, в то же время издевательски, язвительно, смачно.

Мне стало стыдно, что я столько времени уделяю какому-то помешанному. И тем не менее я улыбкой поощрил занятные россказни этого розенкрейцера от искусства.

– Приключение заставило меня призадуматься, – продолжал он. – Я подумал, что раз Бог и Любовь – первооснова искусства, раз им принадлежит то, что в искусстве составляет *чувство,* – не может ли Сатана быть второю основой и представлять собою то, что в искусстве составляет *идею?* – Не дьявол ли соорудил Кельнский собор?

И вот я ищу дьявола. Я корпел над колдовскими писаниями Корнелия Агриппы и поймал черную курицу моего соседа, школьного учителя, но дьявола в ней не больше, чем в четках набожной старухи. А ведь дьявол как-никак существует; блаженный Августин точно описал его собственной рукой: Daemones sunt genere animalia ingenio rationabilia, animo passiva, corpore aerea, tempore aeterna. Сказано ясно. Дьявол существует. Он разглагольствует в парламенте, выступает в суде, играет на бирже. Его изображают на виньетках, расписывают в романах, выводят в драмах. Его видишь всюду, вот как я вижу вас. Карманные зер-

кальца только для того и придуманы, чтоб ему удобнее было подстригать бородку. Полишинель прозевал своего, а также и нашего врага. Ах, почему только не прикончил он лукавого, хлопнув его по башке дубинкой!

Перед сном я выпил эликсир Парацельса. От него у меня заболел живот. Но дьявола с рогами и хвостом я так нигде и не встретил.

А вот и еще разочарование: в ту ночь гроза совсем залила древний город, погруженный в сон. Как я ощупью бродил в потемках, по закоулкам Нотр-Дам – это может объяснить вам только святотатец. Нет такого затвора, к которому преступник не подобрал бы ключа. – Но сжальтесь надо мною – мне необходимы были облатка и кусочек покрывала с мощей святого. – Вдруг огонек прорезался сквозь потемки, затем показалось еще несколько огоньков, и я увидел кого-то; в руке он держал длинную палку с фитилем и зажигал свечи у главного алтаря. То был Жакмар; он был так же невозмутим, каким бывает всегда под часовым колоколом; он затеплил все свечи, ничуть не смущаясь и даже не замечая присутствия непосвященного соглядатая. Коленопреклоненная Жаклина, не шевелясь, стояла на обычном месте; потоки дождя струились по ее свинцовой юбке, скроенной по брабантской моде, сбегали по железному воротничку словно складки брюггских кружев, текли по ее деревянному лицу, раскрашенному, как нюрнбергская кукла. Я робко задал ей вопрос насчет дьявола и искусства, но тут рука злодейки вдруг резко опустилась, тяжелый молот, который она держала, с грохотом ударился о колокол, и под тысячекратное эхо появилась толпа аббатов, рыцарей, благотворителей, древние мумии которых населяют подземелья храма; они торжественно шествовали вокруг сияющего алтаря, где блистали дивным, небесным великолепием ясли младенца Христа. Черная мадонна, мадонна варварских времен, высотою в локоть, с трепещущим тонким венцом на голове, в накрахмаленном, усеянном жемчугом одеянии, чудотворная мадонна, перед которой потрескивает серебряный светильник, спрыгнула со своей подставки и, как юла, закружилась на каменном полу. Она выступала из глубин храма, прихотливо и изящно подпрыгивая, и сопутствовал ей маленький Иоанн Креститель из воска и шерсти, но на него упала искорка, он загорелся и расплавился, оставив два пятна – синее и красное. Жаклина взяла ножницы, чтобы состричь волоски с темени своего младенца; поодаль зажглась свеча, осветив боковой придел с купелью, и тут…

– И тут?

И тут я проснулся – яркое солнце пробралось в щелку ставен, под окном копошились воробьи, в небе колокола затянули антифон. Все это мне приснилось.

– А дьявол?

– Не существует.

– А искусство?

– Существует.

– Но где же?

– В лоне Господнем.

И он обратил к небесам взор, в котором блестели слезинки.

– Все мы, сударь, лишь копировщики Создателя. Самое прекрасное, самое великолепное, самое восхитительное наше создание всегда лишь недостойная подделка, лишь тусклый отблеск его бессмертных творений. Всякая самобытность – орленок, который вылупливается из яйца лишь на священных и громокипящих высотах Синая.

– Да, сударь, я долго искал совершенное искусство. О бред! О безумие! Взгляните на это чело и следы, оставленные на нем железным венцом страданий! Тридцать лет! А сокровенная книга, над которой я неотступно провел столько ночей, ради которой я пожертвовал молодостью, любовью, богатством, развлечениями, лежит бесчувственная и равнодушная, как презренный камешек в пепле моих иллюзии. Небытию не оживить небытия.

Он поднялся с места. Я выразил ему сочувствие, лицемерно и пошло вздохнув.

– Эта рукопись поведает вам, – добавил он, – сколько инструментов испробовал я, прежде чем нашел тот, что издает чистый и выразительный Звук, сколько кистей я извел, прежде чем заметил на полотне слабые признаки светотени. Здесь приведены, быть может, новые основы гармонии и красок – единственный итог моих ночных бдений – и единственная за них награда. Прочтите ее; завтра мне ее вернете. На соборных часах бьет шесть – они гонят прочь солнце, уже готовое спрятаться за кусты сирени. Я запрусь дома, чтобы заняться своим завещанием. Будьте здоровы. – Сударь!

Куда там! – он находился уже далеко. Я был смущен и растерян, как тот председатель суда, у которого секретарь поймал на носу блоху. Рукопись называлась: «Гаспар из Тьмы. *Фантазии в манере Рембрандта и Калло».*

На другой день была суббота. В «Пищали» – ни души. Несколько евреев праздновали шабес. Я бегал по городу, спрашивая у каждого встречного: где мне найти господина Гаспара из Тьмы? Одни говорили мне в ответ: «Шутите?». Другие: «Чтоб он свернул вам шею!». И на этом разговор кончался. Я подошел на улице *Сен-Фелебарк* какому-то виноградарю, горбатому коротышке, который потешался надо мною, стоя у себя на крыльце.

– Знакомы вы с господином Гаспаром из Тьмы?

– А что вы от него хотите?

– Хочу вернуть ему книгу, которую он дал мне почитать.

– Не иначе как колдовскую?

– Почему колдовскую? Скажите мне, где он живет, прошу вас.

– Вон там, где висит дверной молоток.

– Но ведь это дом… Вы направляете меня к господину кюре?

– А сейчас туда вошла красавица-смуглянка, что стирает господину кюре стихари и брыжи.

– Что это значит?

– Это значит, что господин Гаспар из Тьмы иной раз наряжается миловидной молоденькой девушкой, чтобы искушать набожных людей. Свидетельство тому – его приключение со святым Антонием, моим покровителем.

– Избавьте меня от ваших шуток и скажите, где находится господин Гаспар из Тьмы?

– Он в аду. Где же еще ему быть?

– Ах, вот в чем дело! Наконец-то понимаю! Неужели? Неужели Гаспар из Тьмы?…

– Разумеется… это дьявол!

– Благодарю, почтенный!.. А если Гаспар из Тьмы в аду – так пусть там и жарится. А его сочинение я напечатаю.

Луи Бертран.

[Второе авторское] предисловие

У искусства всегда два противоположных облика: это медаль, одна сторона которой напоминает, скажем, черты Пауля Рембрандта, другая – черты Жака Калло. – Рембрандт – белобородый философ, замыкающийся в своем убежище, погруженный в размышления и молитву, смежающий глаза, чтобы сосредоточиться, беседующий с духами красоты, мудрости и любви и пытающийся любой ценой проникнуть в таинственные символы природы. – Калло, наоборот, игривый, хвастливый ландскнехт, важно расхаживающий по площади, горланящий в таверне, ласкающий цыганских девушек, полагающийся только на свою рапиру и мушкет и заботящийся лишь о своих усах, – И вот сочинитель сей книжечки взглянул на искусство с этих двух точек зрения; но он не слишком ограничивал себя: наряду с манерой Рембрандта и Калло тут встретятся и очерки в духе ван Эйка, Луки Лейденского, Альбрехта Дюрера, Питера Неефа, Брейгеля Бархатного, Брейгеля Адского, ван Остаде, Джерарда Доу, Сальватора Розы, Мурильо, Фюзели и многих других мастеров различных школ.

А если у сочинителя спросят, почему он не предварил свою книжечку какой-нибудь броской литературной теорией, то придется ответить, что господин Серафен не объяснил ему механизм своих китайских теней и что Полишинель скрывает от любопытной толпы ниточку, которую приводит в движение его рука. – Он ограничится тем, что подпишет свою книгу:

Гаспар из Тьмы.

Господину Виктору Гюго

К жилищу моему для славы путь неведом,
За песней жалобной она не мчится следом;
Та песнь мне одному мила

Ш. Брюньо. Ода

На проказы ваших блуждающих духов, – сказал Адам, – я обращаю не больше внимания чем орел на стаю диких гусей, все чти твари разбежались с тех пор, как в храмах стали проповедовать достойные пастыри и народ услышал святые истины.
Вальтер Скотт. Аббат, гл. XVI

Милую книжечку твоих стихов через сто лет будут, подобно нам, лелеять, как драгоценность, владелицы замков, щеголи и менестрели, она останется декамероном любви и будет служить обитателям поместий утехой их благородных досугов.

Зато книжечка, которую я посвящаю тебе, позабавив, быть может, одно утро двор и горожан, которых порою забавляет какой-нибудь пустяк, к тому времени претерпит то, что суждено всему обреченному на смерть.

Тогда пусть неведомый библиофил извлечет из могилы эту заплесневевшую, трухлявую книжицу, и он на первой странице прочтет твое прославленное имя, которому моего имени не спасти от забвения.

Любопытный высвободит легкий рой моих духов, после того как столько времени серебряные застежки продержат их в пергаментной темнице.

И для него эта находка будет не менее ценной, чем для нас находка какой-нибудь легенды, записанной готическими буквами, с гербом в виде единорога или двух аистов.

Париж, 20 сентября 1836 г.

Фантазии Гаспара из Тьмы

Здесь начинается первая книга фантазий Гаспара из Тьмы

Фламандская школа

I. Гарлем

Как только амстердамский золотой петух пропоет –
Гарлемская золотая курочка снесет яичко.

Нострадамус. Центурии

Гарлем, восхитительная картинка народной жизни, заключающая в себе всю сущность фламандской школы; Гарлем, писанный Яном Брейгелем, Питером Неефом, Давидом Тенирсом и Паулем Рембрандтом;

И канал, где зыблется синяя вода, и храм, где полыхает золотой витраж, и балкон, где на солнышке сушится белье, и крыши, увитые зеленым хмелем;

И аисты, кружащие вокруг городских башенных часов, вытянув шею, чтобы поймать клювом капли дождя.

И беспечный бургомистр, поглаживающий свой двойной подбородок, и влюбленный садовник, чахнущий оттого, что не в силах оторвать взор от тюльпана;

И цыганка, разомлевшая над мандолиной, и старик, увлеченный игрой на роммельпоте, и мальчик, надувающий бычий пузырь;

И бражники, курящие трубки в подозрительном кабачке, и служанка с постоялого двора, вывешивающая за окно тушку фазана.

II. Каменщик

Каменщик. *Взгляните на эти бастионы, контрфорсы: кажется, будто они сооружены в расчете на вечность.*
Шиллер. Вильгельм Телль

Каменщик Абраам Кнюпфер, с мастерком в руке, распевает, взгромоздясь на воздушные леса – так высоко, что может прочесть готическую надпись на большом колоколе, в то время как под ногами у него – церковь, окруженная тридцатью аркбутанами, и город с его тридцатью церквами.

Он видит, как потоки воды сбегают по черепицам и каменные чудища изрыгают их в темную бездну галерей, башенок, окон, парусов, колоколенок, крыш и балок, где серым пятном выделяется неподвижное продолговатое крыло ястреба.

Он видит крепостные сооружения звездоподобных очертаний, цитадель, которая пыжится, как запеченная в тесте курица, видит дворы роскошных особняков, где водометы иссякают от палящего солнца, и монастырские сады, где тень ползет вокруг колонн.

В пригороде расположились имперские войска. Вот один из всадников бьет в барабан. Абраам Кнюпфер различает его треуголку, красные шерстяные аксельбанты, косичку, перевязанную лентой, кокарду и позумент.

А еще видит он солдат; в парке, под сенью величественных деревьев, на привольных изумрудных лужайках, они стреляют из пищалей по деревянной птичке, привязанной к вершине майского дерева.

Вечером же, когда прекрасный неф храма уснул, сложив руки крестом, он со своей лесенки увидел на горизонте деревню, подожженную солдатней и пылавшую словно комета в лазури неба.

III. Лейденский школяр

В наше время надо быть сугубо осторожным, особенно с тех пор, как фальшивомонетчики обосновались в здешних местах.
«Осада Берг-он-Зоом»

Уткнув подбородок в брыжи из тонких кружев, мессир Блазий располагается в кресле, обитом утрехтским бархатом; видом своим он напоминает жареную дичь, которую повар разложил на фаянсовом блюде.

Он садится за конторку, чтобы отсчитать сдачу с полфлорина; а я, бедный лейденский школяр в потертых штанах и дырявой шапке, стою перед ним на одной ноге, как журавль на частоколе.

Вот из лаковой шкатулки с мудреными китайскими человечками вылезают юстирные весы – словно паук, собирающийся, поджав длинные лапки, укрыться в чашечке пестрого тюльпана.

Когда видишь, как у мастера вытянулось лицо, как он худыми дрожащими пальцами перебирает червонцы, – разве не скажешь, что это вор, пойманный с поличным и вынужденный, под дулом пистолета, возвратить Богу то, чем он поживился с помощью дьявола?

Мой флорин, который ты недоверчиво рассматриваешь в лупу, куда менее подозрителен и темен, чем твои узкие серые гляделки, коптящие, словно плохо затушенная плошка.

Весы снова спрятались в лаковый ларчик с яркими китайскими человечками, мессир Блазий привстал со своего кресла, обитого утрехтским бархатом, а я, бедный лейденский школяр в дырявых чулках и обуви, пячусь к выходу, кланяясь до самой земли.

IV. Борода клином

Лишь тот, чья борода кудрява,
Кто статен, горд, в осанке прям
И ус закручивает браво,
Заслуживает одобренья дам.

Стихотворения
д'Ассуси.

В тот день в синагоге был праздник; во тьме, как звезды, блистали серебряные светильники, и молящиеся в телесах и очках прикладывались к своим молитвенникам, бормоча, гнусавя, поплевывая и сморкаясь – кто стоя, а кто сидя на скамьях.

И вот вдруг среди этого множества округлых, продолговатых, квадратных бород, пушистых, курчавых, благоухающих амброй и росным ладаном, была замечена бородка, подстриженная клином.

Ребе Заботам во фланелевой ермолке, сверкавшей драгоценными каменьями, поднялся с места и сказал: «Кощунство! Среди нас – борода клином!».

«Лютеранская борода! – Куцый кафтан! – Смерть филистимлянину!» – И правоверные зашумели на скамьях и затрепетали от ярости, а главный раввин вопил: «Одолжи мне, Самсон, свою ослиную челюсть!».

Но тут рыцарь Мельхиор развернул лист пергамента, скрепленный имперской печатью. «Приказываем, – прочитал он, – задержать мясника Исаака ван Хека, повинного в убийстве, и повесить оную израильскую свинью между двумя свиньями фламандскими».

Из темного прохода тяжелым шагом, бряцая оружием, выступили тридцать алебардщиков. «Плевать мне на ваши алебарды!» – злобно усмехнувшись, воскликнул мясник Исаак. И, устремившись к окну, бросился в Рейн.

V. Продавец тюльпанов

Среди цветов тюльпан – то же, что павлин среди птиц. Один лишен аромата, другой – голоса; один гордится своим нарядом, другой – хвостом.
«Сад редких и диковинных цветов»

Ни звука – если не считать шелеста пергамента под пальцами ученого мужа Гейльтена, который отрывал взор от Библии, испещренной старинными миниатюрами, лишь с тем, чтобы полюбоваться золотом и пурпуром двух рыбок, заключенных в тесном сосуде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.